

НАД РОДНИКОМ СТАРИННЫЙ ГОЛУБЕЦ

*Стихотворения
Геннадия Рязанцева-Седогина
и творческая сверхзадача*

Поэзия нового века и излета ушедшего тысячелетия ознаменована мировоззренческим поворотом автора от внешнего мира — к внутреннему. Можно сказать, что творческий оком стихотворца пополнился еще одним сегментом реальности, которая обрела дополнительный объем и новые измерения — однако на деле картина литературы, повествующей о мире обширном, почти безграничном, стала выглядеть достаточно бледно. Прежде было принято говорить о сверхзадаче, таящейся в глубине сознания писателя. Теперь же рассуждения об очередном произведении, будь то проза или поэзия, практически никогда не обходятся без упоминания о фигуре автора, которая едва ли не более художественно весома, нежели все, что он поместил в сюжет и вывел в качестве привлекательных сторон своего опуса в издательском синопсисе. Отодвигая в сторону детали этого парящего над сюжетом «демиурга», назовем главное: самовыражение литератора и свобода его личности, уставшей от невнимания публики. По преимуществу, буржуазной публики, озабоченной в обыденной жизни только ее прагматической стороной и желающей на досуге занимательности во всем. Или же — подтверждения того, что в экзистенциальных глубинах даже и беспочвенного существа присутствует некий важный смысл и многообразие эмоций.

И вот такой автор — «демиург» своего личного мира — постепенно оказался в центре «новой» литературы и издательской практики. А то главное, что наполняло культуру в прежние десятилетия и эпохи, стало пониматься буржуазным бомондом как отжившее свой век морализаторство и диалог с вымышленными инстанциями и персонажами: с богом, поименованным с малой буквы, или с великими именами, носители которых вполне могли «обжигать горшки» и были, кажется, ничуть не более значительными, нежели нынешние мастера слова и жеста, что по-домашнему расположились в границах медийной картинки. Такой в метафизическом плане «низовой» фон сопровождает творения русских поэтов и прозаиков в течение всех лет существования «новой России».

По существу, настоящей читатель вынужден выбирать между литературой почвенной и литературой «мертвенной», поскольку с вечной жизнью эта вторая никак не связана и сопряжена с понятиями и предметами сугубо земными, вещественными. Литература почвы пытается проникнуть в тайну возникновения родовой памяти и природы, в народную традицию и сложнейшую проблему ее соприкосновения с цивилизацией. Здесь художник озабочен уже упомянутой сверхзадачей, а все, что позволяет ему двигаться к назначенной цели, имеет служебный, инструментальный характер. Стилистика, выбор места и времени, лица и повадка героев, смысл происходящего и размышления о будущем, наконец, место, где стоит певец русской доли и всматривается в окружающее пространство, окрашенное добром и злом и хранящее неувядающие черты красоты, однажды подаренной человеку Создателем... Все это — только краски для литературного творения, а сам писатель на страницах произведения отодвинут в сторону и участвует в происходящем лишь по необходимости.

Наверное, так нужно воспринимать стихотворения священника Геннадия Рязанцева-Седогина, тем более что он сам в своей концептуальной статье о поэзии упоминает о примерах поразительных откровений «почти безличного, непосредственного творчества». Вместе с тем лирический дар никогда не отражает ту или иную доктрину буквально, но всегда осваивает ее изнутри и расширяет порой совершенно непредсказуемо.

Книга «Вселенная как колокол...»¹ о. Геннадия подтверждает эту мысль не один раз и являет собой обширное поле для художественного созерцания и переживания взыскательного русского читателя. Стоит специально упомянуть о том, что поздние стихи автора, живущего в пространстве противоречий и противоборств современности, вбирают в себя конкретные черты текущего времени. Однако главное высказывание Геннадия Рязанцева-Седогина сосредоточено в бытийном мире и обращено к скрытой сути всего, что происходит с русским человеком в наши дни. Тогда как стихотворения с явными приметам социальной жизни оказываются слепком психологического и эмоционального состояния поэта, который остается житейским соседом каждого своего читателя и проходит через сходные душевные терзания. Такое непреодолимое земное равенство с любым иным человеком делает художника свидетелем проживаемого времени. У этих строк — свое назначение и творческий вес. Но художественный взгляд в самое существо реальности, когда преодолевается случайность деталей и лиц, можно считать наиболее значимой частью поэзии о. Геннадия. О ней и пойдет речь.

В одном из лучших стихотворений поэта «Старуха» удивительным образом сливаются в единую картину зримые предметы и метафизические картины — так, что конечное изображение вбирает в себя и надежду, и скорбь, и чувство беды, и радость свободного духа:

¹ Геннадий Рязанцев-Седогин. Вселенная как колокол... Поэзия. Малое собрание сочинений. — М.: Вече, 2021.

Жизнь у старухи тяжелая,
Забыва и людьми, и Богом.
Клонится старая ветла,
Распались камни под порогом.
И набок съехало крыльцо.
Согнулась, сгорбилась старуха,
В морщинах серое лицо,
Давно глуха на оба уха.
Сидит и смотрит на поля,
Где рожь волнами колосится,
Ей чудится: поет Земля,
Как в клетке радужная птица.
Ей видится цветущий сад,
Согретый солнцем на закате,
И неба гаснущего взгляд,
И сумрак в одинокой хате.

Одним живописным касанием здесь показана вещественная жизнь — и присутствие надмирных звуков, Свет Небесный и сумрак земной. Все тяжкие прошлые дни притягиваются небесным оком — пусть как будто гаснущим, но светящимся, в отличие от вязкого полусвета скудного человеческого пространства. Мягкая отсылка к Небесному мироустройству обозначает едва уловимые рациональным умом душевные качества героини сюжета: христианское терпение, способность наивно воспринимать красоту и открытый ко всему Вышнему внутренний слух, мистически непреходящий, которому горестная физическая глухота не помеха. Универсальность изображения и драматизм одинокой судьбы даны автором в удивительной соразмерности и взаимном слиянии.

Талант созерцания — чрезвычайно важная грань лирического дарования. Стихи Геннадия Рязанцева-Седогина содержат в себе это свойство как никакое другое. Заметим, что здесь важна не панорама, а медленное движение взгляда художника, когда он, внимательно ухватив одно, неторопливо переходит к другому, не нарушая их внутренней связи, но незаметно подчеркивая ее. И еще — простота предмета или события, берущая начало в библейской отчетливости и осязательной единственности вещей, слов и линий («Я этой простотой живу»):

И зову сладкому подвластный,
Я прославлял тоску небес,
Бег облаков и день ненастный,
И речку, и шумящий лес.

Звучный и насыщенный красками слог исподволь направляет читателя к великим смыслам и картинам, в которых есть равновесие и знаки тайны. Поэт чувствует себя наследником классической русской лиры и не стесняется своего кажущегося несоответствия букве лихорадочного времени. Обращаясь вслед за Ходасевичем к евангельскому образу зерна, он говорит не о самой мифологеме — чувство, переживание, память выходят у о. Геннадия на первый план, тогда как собственно рассуждение как будто спрятано. Исполнение мысли, ее реализация приводят к тому, что все библейское осязательно уступает место человеческому.

...Земля вздохнувшая покорна.
Кормилица и ласковая мать.
Тебе не занимать терпения и воли,
Ты не устала со смиреньем принимать
Людей, не помня ни обид, ни боли.

Падет зерно в твою святую плоть,
Его пробудит дождь, взлелеют ветры.
Путем зерна, считая километры,
Пойду и я, благослови Господь.

Русская память насыщает родную землю везде, и этот лейтмотив для поэта очень важен. Следы прошлых десятилетий и веков становятся частью природных сюжетов и придают им вневременной оттенок.

Среди густой травы ведет тропа,
На камне желтом — кружка и корец,
Но сохранила русская судьба
Над родником старинный голубец.
.....

Степная тишь. А за буграми
Закаты ярче и длинней.

И гаснущими вечерами
Сад полон медленных теней

Все меркнет, замолкают птицы.

Поник прозрачный воздух дня.

И тонкий запах медуницы,

Как в детстве, вновь томит меня.

А вечером шмели и осы

Оставят яркие цветки.

Стоит июль. Идут покосы.

Луга пустеют у реки.

У Рязанцева-Седогина в стихах предметный антураж, кажется, совсем не современный, явные приметы «цивилизации» отсутствуют в большинстве его вещей. Но переживание поэта узнается читателем мгновенно и потом уже воспринимается как собственное. Такая интонационная «метка» есть практически во всех его стихотворениях. Причем они совсем не кажутся старомодными, архаичными. Выстроенные по бытийным лекалам, стихи о. Геннадия перекликаются с лирикой поэтов первой русской эмиграции. У них не было необходимости прописывать в строке вещественные детали текущего дня: было важно зафиксировать чувство, понять, в какой точке бытийного пространства находится потаенный, подлинный человек пишущего автора.

На этом фоне особенно отчетливы сюжеты биографического свойства, занимающие в корпусе стихотворений Рязанцева-Седогина значительное место. Всякий предмет в таком контексте становится частью всего существа автора, почти оживает и излучает заметное тепло. Он однозначно не случаен и не мимолетен, с ним связано все самое дорогое и родное. В этом — наглядное отличие основательных и подлинных деталей прожитой жизни — единственной в каждой своей мелочи — от легковесной социальной шелухи. Стилистика поэтической речи, сдержанное чувство и видимая тяга к происходящему в пространстве памяти делают биографическое основание лирического рассказа у Рязанцева-Седогина не столь уж наглядным. Оно неуловимо перетекает в пределы *всеобщего*, когда читатель вспоминает свое, ставит его рядом с событиями стихотворения — и любит только что узнанное и когда-то прожитое — вместе, уже как собственную светлую часть души.

Как счастлив я, когда приснится

Мне нежность строгого отца.

Июльский день. Овраг. Криница.

И гул пчелиный без конца.

Отец ко мне коня подводит

И, силою крылатых рук,

Меня возносит, и поводья
Дает. И мы идем на круг.
Так сладко пахнет свежим сеном!
И жарки конские бока.
Я чувствую своим коленом
Верблюжий волос армяка.

В стихотворении «Сон» автор совмещает приподнятость интонации с земной материальностью («отец... силою крылатых рук, меня возносит»; «жарки конские бока»; «верблюжий волос армяка»). Вдохновенный взгляд на окружающий мир, плотность реальных предметов, движение памяти... По существу, перед читателем *целостная* картина, проникнутая гармонией чувств и радостью жизни. Это совсем не декоративная мизансцена, а дешифрованная с завидной точностью страница из тайников авторской памяти. Целостность и гармония мира, детской души и родового места здесь удивительны!

В образе терпеливых и кротких домашних животных возникает отсвет первых времен — до грехопадения, когда были еще естественны доверчивость, послушание, доброта.

Вставал над дверью иней белый —
То мой отец студил избу...
Входила поступью несмелой,
Показывая худобу,
Кобыла наша,
Пригибаясь.
Светились темные глаза,
На морде струйкою, качаясь,
Текла согретая слеза.
Зима стояла у порога,
А лошадь фыркала в избе.
Впервые я увидел Бога
В той лошадиной худобе.

Параллельная евангельская тематическая линия у Рязанцева-Седогина связана с наблюдением постепенного падения человеческого мира в пучину тьмы, в бездну ада. Подобных сюжетов у него довольно много, они являют собой воплощение христианских пророчеств и художественный отпечаток личной печали приходского священника, который ежедневно сталкивается с равнодушием и злом, что воцарилось ныне на Русской земле. Апокалипсические видения и знаки встают перед внутренним взором автора. Изощренная сложность современной цивилизации противостоит детской простоте, которую призывал ценить Спаситель.

Толпятся в праздности народы,
Снуют в бесстыдной нагоде.
И затаились в пустоте
Всепоглощающие воды.
.....
Но лишь тогда ты благостен, поэт,
Когда ты чуешь, что за темной гранью
Незрим бессмертный образ мирозданья,
Что нет страданья в нем, и времени в нем нет.

У поэта Надмирное не исправляет земное, но только напоминает ему о себе («Не исчезая за незримой далью, / Плывут, плывут по небу облака»).

В тяжкие и сумрачные минуты мир постоянно взвешивается на Вышних Весах. Понимая, что все здешнее содержит изъяны и не способно продлить свой короткий век, художник, тем не менее, скорбит о земном и жалеет земное. Даже

засыхающий камыш в степи им очеловечивается и принимает свою долю нежности.

Пронзительна степная тишь.
Но ночью запоют цикады.
И этот высохший камыш
Озябнет от ночной прохлады.

Для поэта, наверное, во всяком его сюжете исключительную роль играет выбор — как волевое решение, как интуитивный толчок, как просветление, как тот или иной художественный ход. У о. Геннадия проблема человеческого и творческого выбора проецируется на евангельское толкование здесь и сейчас происходящего. Всякий пустяк имеет значение, кажущийся случайным шаг на самом деле потаенно мотивирован и предопределен предшествующими событиями. В подобных обстоятельствах наитие и осознанное движение становятся основанием для всех последующих событий и психологических состояний. Но видимое знание о том, к чему приведет в дальнейшем цепочка шагов и сколь важен смысл каждого решения, которое может представляться иной раз привычной мелочью, — это знание ускользает от погруженного в обыденность человека, пусть и православного. Прозрение и чувство внутренней правды должно вести его по земным дорогам, но такой проводник, к сожалению, дается свыше не каждому.

В стихотворении «Обитель» одинокий путник направляется к монастырю, преодолевая тяжкий зной. Почти незаметное в развитии сюжета упоминание о том, что он «шел один из всей деревни», оказывается, по существу, едва ли не самым важным обстоятельством этой истории. Перед нами — почти последний праведник, приближающийся к монастырским воротам. Бесконечная жаркая степь вокруг безлюдна. Но, перекрестившись, коленопреклоненный странник вдруг увидел «толпы прежних поколений... окрест».

Были праздничны подводы
Из соседних деревень,
Были ясны неба своды,
Праздником светился день.
Он закрыл глаза рукою —
И видение прошло,
Словно быстрою рекою
По теченью унесло...

Здесь нет упоминания о том, насколько был набожен паломник, что «...поступью спокойной / Шел к обители одной». Можно только догадываться, что в дорогу он пустился, ведомый какой-то мыслью или надеждой, пониманием долга или благодарностью. Но, так или иначе, однажды он принял решение, и оно оказалось мистически очень значимым: в реальности никого из людей не нашлось у входа в обитель, похожую на предместье Рая. В храме, среди мерцания свечей и святых образов на темных иконах, вдруг стало понятно, что в это мгновение невозможно сказать: утро сейчас, полдень или вечер, а на языке апокалипсиса — закончена ли земная история человеческого мира, отпавшего от Христа. Ибо вот она — возможно, единственная душа, кладущая на чело и грудь широкий Крест — и тем самым соединяющая себя с Небесами и не позволяющая Земле кануть в мрачную бездну ада.

Этот сюжет выписан Геннадием Рязанцевым-Седогиным удивительно простыми художественными средствами. Отсутствие формальных приемов версификации позволяет рисовать картину последовательно и рельефно, сближая живопись и поэзию, что на деле — довольно трудно. Потому что требует от автора умения видеть происходящее в деталях, но не тонуть в них. Понимать на уровне творчес-

кой догадки, что именно предстало перед твоим одухотворенным взором. И с невероятной чуткостью сводить воедино язык лирического повествования — и сверхзадачу.

Когда отождествишься с тайной снов,
Когда проснешься, окрыленный смыслом,
Тогда сквозь груды легковесных слов
Коснешься Логоса и, словно коромыслом,
Ты взвесишь времени и вечности поток,
И, если тяжесть не раздавит плечи,
Держи тобой построенный мосток,
Где смыслы обретают форму речи.

Вячеслав ЛЮТЫЙ

МЕЧТА

Я хотел бы жить с тобою
До конца под сельским небом,
С деревенской голытьбою,
С молоком и черным хлебом.

Чтобы ты была простушкой
В белом ситцевом платочке,
Чтобы на часах с кукушкой
Вместо чисел были точки.

Чтобы в летний день воскресный
Колокол звонил к обедне
И в церквушке нашей тесной
Ты стояла бы последней.

В долгой складчатой юбчонке,
Тихо зажигая свечи
И рукою юной, тонкой
Осеняя лоб и плечи.

ОБЛАКА

Плывут, плывут по небу облака —
Скитальцы в бесприютной сини.
Земля моя просторна, широка,
Со вкусом горькой и сухой полыни.

Плывут, плывут без усталости вперед,
Как караваны в небе кочевые.
Им вслед глядит с улыбкой мой народ
Да знаки по дорогам верстовые.

Куда плывут — не скажут никогда.
Так было в древности и так доньше.
Так безучастны, коль придет беда,
Так веселы, коль нет беды в помине.

То встретится забытое село,
То храм, людьми покинутый, старинный
(Он сохранен под ангельским крылом),
То серые и голые овины.

Душа жива и трепетна, пока
В раздумье полнится и грустью, и печалью...
Не исчезая за незримой далью,
Плывут, плывут по небу облака...

ОБИТЕЛЬ

Занимался полдень знойный.
По дороге грунтовой
Путник поступью спокойной
Шел к обители одной.

Шел, молитву повторяя,
Имя Господа Христа.
Как Адам у двери рая,
Плакал, не сомкнув уста.

Шел один из всей деревни,
Шел без усталости вперед.
Показался купол древний
Да привратник у ворот.

Путник преклонил колени,
Положил широкий Крест.
Толпы прошлых поколений
Вдруг увидел он окрест.

Были праздничны подводы
Из соседних деревень,
Были ясны неба своды,
Праздником святился день.

Он закрыл глаза рукою —
И видение прошло,
Словно быстрою рекою
По теченью унесло...

Густо так дышало зноем
В приоткрытое окно...
В храме, с благостным покоем,
И прохладно и темно.

В сумраке мерцают свечи,
Образа икон темны...
Утро, полдень или вечер —
Не поймешь средь тишины.

* * *

Зимой сидели в доме старом
В кругу оставшейся родни.
Вдруг в дверь мороз ворвался с паром —
И вспомнились былые дни.
И вспомнился в далеком детстве
Избы натопленной уют,
Животные в родном соседстве —
Гербарий собранный жуют.
Вставал над дверью иней белый —
То мой отец студил избу...
Входила поступью несмелой,
Показывая худобу,
Кобыла наша,
Пригибаясь.
Светились темные глаза,
На морде струйкою, качаясь,
Текла согретая слеза.
Зима стояла у порога,
А лошадь фыркала в избе.
Впервые я увидел Бога
В той лошадиной худобе.

ВОСПОМИНАНИЕ О МАМЕ

Гляжу в ночную глубину,
В провал окна, а дальше не видать...
«Закрыло пологом Луну, —
Мне в детстве говорила мать, —

В такие вот унылые часы,
Когда весь мир во мраке утопает,
Господь выносит древние весы
И судьбы человечества решает.

То горький час мучительной тоски,
Счастливое всемирное молчанье,
Когда мы к Богу так близки,
Что неминуемо прощанье».

Откуда это ведала она?
С теплом мне пожимая руку,
Шептала тихо: «Ночь темна,
Она пророчит нам разлуку...»

ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО

В этой деревне над черною пашнею
(Думать об этом невмочь)
Ночью глухою, беззвездною, страшною,
Ходит боярская дочь.

С думой о батюшке, с думой о Родине
Ходит и бродит века.
По берегам, где земля плодороднее,
Да и река глубока.

Дивная странница, душам приказчица,
Думы мои сбереги.
Жизнь моя катится, под гору катится —
Страшно, не видно ни зги.

Хватит! довольно земле припорошенной
Песни печальные петь.
Белое платье украсят горошины —
Будет приятно смотреть.

НЕДРУГУ

Опять знакомый путь голгофы
Маячит у моих дверей.
То страшный призрак катастрофы
Гуляет по стране моей.

Глумятся недруги, хохочут,
В пыли стирают пот с лица.
Быть может, ад себе пророчат,
Примерив маску подлеца.

Растянуты улыбкой лица,
Сверкают холодом глаза.
Венец из терна, багряницу,
Уже несут под образа.

И упадет завеса в храме.
«Свершилось» — прозвучит с Креста.
Участников в библейской драме
Навек укроет темнота.

Всех позовут, живых и мертвых,
На Суд к Воскресшему Христу.
И Он в сандалиях истертых
Бесстрастно подведет черту.

И мир греховный содрогнется,
Сомкнув застывшие уста.
И лишь младенец рассмеется,
Увидев красоту Христа.

Не приемлю холодные храмы.
 Мрамор звонкий, колонны, скамьи.
 И картины библейские в рамах
 В Нотр-Дам де Пари.

Там орган оглушительно громок,
 Себастьян истекает в крови.
 Не поймет одичавший потомок
 Тайну кроткой Господней любви.

Я люблю потемневшие лики
 Древних досок, дубовых колод —
 Не помпезные базилики,
 А родных Алтарей низкий свод.

ЖИЗНЬ МОЯ

И не все ли равно, что там было —
 Да и что мне до прошлых эпох!
 Жизнь моя, ты уже подходила
 К перекрестию пыльных дорог.
 Знаю горечь поникшей полыни
 И скрипучий песок на устах,
 Помню боль, что терзает поныне:
 Ведь я жизнь пробежал впопыхах.
 Смутно помню знакомые лица
 И родных, и друзей, и врагов.
 Да и жизнь мне уже только снится
 У последних моих берегов.

* * *

Кому вручу печаль и грусть?
 Иду один по косоугору,
 Приюта нет — ну что ж, и пусть,
 Зато открыты дали взору.

Полям отдам свою печаль,
 А грусть отдам ветрам дорожным.
 И озарится светом даль,
 И глаз коснется осторожно.

К тому приходит день счастлив,
 Кто время мерит ростом злаков.
 Я знаю, он нетороплив,
 В тоске и грусти одинаков.

Я этой простотой живу.
Иду, весь мир благословляя.
Жгут прошлогоднюю траву,
Дым стелется, лениво тая.

ВНЕ ВРЕМЕНИ

Идем, шуршим сухой листвою.
Что чувствует в ночи моя собака,
Застыв на миг передо мной,
Заслышав стон степного мрака?

Полночный, древний, дикий стон,
Как горьковатый вкус полыни,
Идущий из седых времен —
Бездушной, неживой пустыни.

ЗАКАТ В МАЕ

Закат окрасил облака,
Туман повис над луговиной.
Ни звуков птиц, ни ветерка,
Река в отсвете рыжей глины.

Пронзительна степная тишь.
Но ночью запоют цикады.
И этот высохший камыш
Озябнет от ночной прохлады.